

DOI: 10.31860/0131-6095-2022-3-121-131

© В. А. Котельников

РОМАНИСТ ПЕРЕД ЗАКАТОМ ИМПЕРИИ (К 200-летию со дня рождения Б. М. Маркевича)

О романе Б. М. Маркевича «Перелом» К. Н. Леонтьев заметил, что он «имеет достоинство историческое».¹ Это можно сказать о всех романах писателя. В их совокупности эпически представлена жизнь России с 1850-х по 1880-е годы, когда империя начинала клониться к упадку. Поместное дворянство, петербургский свет, правительственные сферы этой эпохи изображаются Маркевичем с реалистической, подчас с документальной достоверностью лиц и обстановки, и тем более убедительно проступают во всей картине черты постепенной общественной и государственной деградации.

Болеслав Михайлович Маркевич (1822–1884) принадлежал к поместному дворянству Юго-Западной России, его род вел свое происхождение от польского шляхетства. Родившись в Петербурге, он провел детские годы в Волынской губернии, и с тех пор самым близким и любимым миром оставались для него помещичья усадьба, быт и культура просвещенного дворянства, природа того края, описания которой вносят в его прозу свежие поэтические краски, не лишённые лирических оттенков. Не увядшая свежесть первого впечатления от той природы отразилась и в позднейшем воспоминании о ней, возбужденном гоголевскими «Вечерами...»: «Я жил на земле „старой гетманщины“⁴, под Уманью, мне знакомы были не по одной этой книге божественные украинские ночи, заросшие вербами пруды, вишневые сады с их сыпающимся весной снежно-розовым цветом...».²

С 1827 года семья Маркевича жила в Киеве, где Болеслав получил хорошее домашнее образование под руководством губернатора-француза, «поэта ламартиновской школы» Queiréty (11, 363),³ а с десятилетнего возраста языку и литературе его обучал «русский учитель» Василий Григорьевич Юшков (11, 358), бывший любимым педагогом мальчика.⁴ В 1836 году Маркевичи переехали в Одессу, где Болеслав поступил в пятый класс гимназии при Ришельевском лицее (до 1847 года он назывался благородным воспитательным институтом). Через два года он стал студентом юридического отделения этого лицея, курс которого окончил в 1841 году. Служебная его карьера складывалась успешно, начавшись в 1842-м в Министерстве государственных имуществ, где в 1848 году он получил должность чиновника особых поручений при министре. Вскоре его перевели в Москву на ту же должность при военном генерал-губернаторе графе А. А. Закревском. В 1850 году он был назначен директором Московского попечительного совета о тюрьмах. Затем в порядке повышения снова оказался в Петербурге в должности экспедитора в Государственной канцелярии. Пребывая в столице, Маркевич приобрел обширные связи в светском обществе, при Дворе (он был своим человеком в кружке императрицы Марии Александровны), в высшей администрации. Обеспечивали видное положение Маркевича его многочисленные дарования — острый ум и образованность, таланты рассказчика и актера, делавшие его весьма интересным собеседником в столичных салонах. К этому присоединялось и обаяние его личности.

¹ Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Глав. ред. В. А. Котельников; подг. текстов, комм. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб., 2014. Т. 9. С. 153.

² Маркевич Б. М. Из прожитых дней. II. Профили старых времен // Маркевич Б. М. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 1912. Т. 11. С. 360. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы.

³ Образ этого губернатора, под собственным его именем, Маркевич воспроизвел в романе «Забывтый вопрос», со всеми подробностями его воспитательной деятельности. Queiréty преподавал Болеславу «полный подробный курс французской грамматики и словесности от Alain Chartier и Charles d'Orléans, поэтов XIV и XV веков, до Виктора Гюго и романтиков включительно», мифологию и географию и очень подробный курс истории «от мидян и персов» «до самой семилетней войны» (11, 363). Все эти познания нашли отражение в беллетристике Маркевича.

⁴ Он фигурирует, также под собственным именем, в романной трилогии Маркевича.

Е. Ю. Хвоцинская вспоминала о своей первой встрече с ним: «Но кто меня окончательно очаровал в первый мой выезд — это Б. Маркевич, наш талантливый романист. Он был красавец, и при этом все в нем было элегантно и благородно; его открытый белый лоб, пышные белокурые волосы придавали его лицу что-то особенно красивое и поэтическое».⁵

Вероятно, по причине разлада со своим начальником государственным секретарем В. П. Бутковым (оба отличались неуступчивостью характера) Маркевич в марте 1860 года покинул службу. А. К. Толстой, познакомившийся с ним в начале 1850-х годов и до конца жизни поддерживавший дружеские отношения, был огорчен неприятностями Маркевича и писал ему 21 апреля (6 мая) 1860 года, предварив письмо эпиграфом

Где нет толку никакого,
Где сумбур и дребедень,
Плюнь, Маркевич, на Буткова
И явись, как ясный день!

Далее следовало: «Напишите, не надеетесь ли Вы получить место, более соответствующее Вашим вкусам и наклонностям, чем то, которое потеряли? Нельзя ли предпринять что-нибудь у Великой княгини Елены, или же в Академии художеств, или же в Министерстве просвещения?»⁶

Можно предположить, что не без неких протекций Толстого (близкого ко Двору и с детства знакомого великому князю Александру Николаевичу, ставшему императором) Маркевич вновь «явился, как ясный день» на служебном поприще. На этот раз в Министерстве внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям, а с 1866 года в той же должности в Министерстве народного просвещения, как и предвидел Толстой. В 1868-м он получил чин действительного статского советника, в 1866-м стал камергером, в 1873-м — членом Совета министерства.

Карьера неожиданно прервалась в 1875 году, когда Маркевича обвинили в злоупотреблении служебным положением и он был вынужден уйти в отставку. Суть довольно неясной истории заключалась в том, что Маркевич способствовал передаче газеты «Санкт-Петербургские ведомости» из ведения Академии наук, у которой арендовал ее издание В. Ф. Корш, в Министерство народного просвещения и вместе с тем помог переходу аренды к финансовому деятелю и издателю Ф. П. Баймакову, за что будто бы получил от последнего крупное вознаграждение. По свидетельству знавшего всю подноготную Е. М. Феоктистова, прежде всего сам Корш за уступку аренды получил от Баймакова пятьдесят тысяч рублей, а инициатива передачи издания в ведение Министерства принадлежала не Маркевичу, а самому министру графу Д. А. Толстому, который, однако, «неумело распорядился <...> в этом случае».⁷ Имени Маркевича в связи с этим Феоктистов вовсе не упоминает, хотя, по нерасположению к нему, не преминул бы это сделать, если бы нашлись порочащие его факты. Недруги Маркевича придали происшествию скандальный характер, Маркевич оправдывался, но дело приняло неблагоприятный оборот, репутация его была испорчена, и после отставки он уехал в Галич. В Петербург он вернулся в 1877 году, эпизод был публично истолкован М. Н. Катковым как несчастная ошибка Маркевича, и их сотрудничество продолжилось.

В годы службы Маркевич имел возможность из первых рук узнавать о работе правительственных учреждений, о направлениях внутренней политики, о придворных и административных интригах. Получил он достаточно точные представления и о личностях многих деятелей высшей администрации, о их репутациях «в верхах», их наме-

⁵ [Хвоцинская Е. Ю.]. Воспоминания // Русская старина. 1898. Т. 94. С. 643.

⁶ Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: В 5 т. / Глав. ред. В. А. Котельников; подг. текстов, комм. В. А. Котельникова. М., 2018. Т. 5. С. 119; подлинник по-французски.

⁷ Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). Воспоминания. М., 1991. С. 186.

рениях. Благодаря этому он оказался ценным сотрудником для Каткова, с которым сблизился на почве консервативных убеждений и которого снабжал материалами для его публикаций в «Московских ведомостях», «Современной летописи». В этих изданиях печатались и собственные статьи, фельетоны Маркевича, в частности циклы «Из Петербурга», «С берегов Невы». В катковском «Русском вестнике» появлялись и его главные беллетристические произведения, и, что примечательно, — наряду с романами Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, печатавшимися там в те же годы, поэтому нельзя говорить, что публикация романов Маркевича в этом журнале связана исключительно с консервативной тенденцией собственно его произведений и самого издания Каткова. Не следует также преувеличивать роль Маркевича в подчас жестком проведении Катковым, консерватором-государственником, идеологической и политической линии в названных органах печати. Его сочувствие позиции Каткова, склонность поддерживать «охранительное» направление его деятельности мотивировались давно сложившимися общественно-политическими и эстетическими воззрениями.

Все литературные, исторические и социокультурные ориентиры Маркевича установились весьма рано и закрепились окончательно в годы учебы. Они окрашивались эмоционально, определяли его предпочтения, которые, в силу темперамента, становились пристрастиями, управлявшими его мнениями и зачастую творчеством.

Мир воспринимался им прежде всего через поэзию, которую, как вспоминал Маркевич, он сам и друг его детства Л. И. Арнольди любили «до какого-то бешенства, оба владели на стихи огромною памятью, <...> знали наизусть Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Виктора Гюго, Шенье, все непропускаемые или урезываемые тогдашнею цензурою стихотворения и строфы русских поэтов...» (11, 342). Центром этого мира был Пушкин, чьи стихи покорили восьмилетнего мальчика, еще прежде смысла их, своей музыкальностью, что поддерживалось фортепианными импровизациями отца на стихи поэта.

Оглядываясь в 1884 году на детские встречи с поэзией Пушкина и на значение ее в своей жизни и в творчестве, Маркевич в воспоминаниях патетически высказался об исключительной любви к ней — и рядом с тем, все еще болезненно переживая эпоху «отрицания» 1850–1870-х годов, с не прошедшими горечью и негодованием вспоминал «о тех, обреченных на проклятие потомства, годах, когда сброд диких семинаристов и нахальных недоучек» (11, 372) ниспровергал Пушкина под одобрительные крики «прогрессивной общественности». Именно та социокультурная коллизия, глубоко травмировавшая нравственное и эстетическое чувство Маркевича, нашла выражение в его романах в теме неразрешимого конфликта между миром традиционных ценностей и вызывающе заявившим о себе в обществе и в литературе нигилизмом.

Продолжавшиеся в лицее курсы словесности Маркевич воспринимал не просто с умственной жадностью, но с чрезвычайным эмоциональным возбуждением, что вообще было свойственно его натуре. Захваченный «поэтическими красотоми Вергилия и Горация» в лекциях профессора Беккера, читавшихся на латыни, он почти со слезами восторга декламировал и переводил с листа стихи из «Carmen saeculare» (11, 374–375). В его «огромной массе чтения, самого разнообразного по содержанию» (11, 373), кроме русской и европейской литературы, немалое место занимали исторические сочинения. Он проштудировал «Иоганна Миллера («Всеобщая история»), Гиббона, Нибура, Мишо («История крестовых походов»), Гизо («История цивилизации Европы»), Робертсона («История Карла V» и «Открытие Америки»), Амедея Тьера («История завоевания Англии»), „Историю Англии“ Юма и Галама „Middle age“, Карамзина и Полевого («История русского народа»), Тьера и Минье («История французской революции»), массу французских мемуаров...» (11, 377). Следы литературного и исторического чтения (вплоть до прямых цитат) в изобилии присутствуют в его романистике и создают широкий и насыщенный культурный контекст описываемых лиц и событий. В этом отношении с текстами Маркевича не могут сравниться романы других русских писателей.

В немногочисленном кружке ближайших лицейских товарищей Маркевича ценилось «знание единственно для знания, безотносительно к тому, на что оно могло

пригодиться нам в действительности» (11, 376). Они претендовали лишь на одно — на звание «образованного человека»; это было маленькое содружество идеалистов, каковым был тогда и оставался впоследствии сам Маркевич. Тем ближе была им идея «искусства для искусства» и тем более отталкивал провозглашавшийся с середины века утилитаризм в культуре. В студенческие годы в их среде выработывался «идеал, страстное отношение к человеческой цивилизации, к искусству, вера в светлое будущее, ожидающее мир, просветленный знанием» (11, 382), которым никогда не изменял Маркевич. Вместе с тем он ясно осознавал и гражданское, и культурное значение того идеализма.⁸ «Не забудем, впрочем, и того, что идеализм этой нашей, так нагло оплеванной следовавшим за нами поколением „прогрессистов“ эпохи не мешал, чтобы не сказать прямо — способствовал людям ее служить отечеству своему незабвенную службу в деле освобождения русского народа от крепостного состояния и создать целый ряд высокохудожественных произведений» (11, 382). Однако Маркевич не упускал из виду и другой стороны тогдашнего идеализма: отвлеченности мирозерцания, отстраненности от жизненной почвы, некоторой книжности представлений о мире и человеке. Маркевичу помогли избежать этой отвлеченности, «беспочвенности» его тесная связь с коренными началами жизни, его вдумчивое отношение к окружающему, опыт деятельного общения в разных слоях общества.

Маркевичу еще до того, как он стал вхож в петербургский большой свет и в придворный круг, довелось познакомиться с несколькими лицами из высшего дворянства, что дало ему живое представление о лучших людях сословия и о его значении в обществе и государстве.

В бытность свою в Одессе он встречался с графом М. С. Воронцовым, с сыном которого учился в лицее. Граф Воронцов (с 1845 — князь, с 1852 — светлейший князь), вспоминал Маркевич, «был *grand seigneur*, и притом русский барин в полном значении этого слова»; «наружность его поражала своим истинно барским изяществом». В то же время Маркевич видел в нем, воспитывавшемся в Англии, «тип утонченного временем и цивилизацией потомка одного из железных сподвижников Вильгельма Завоевателя. Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный» (11, 394–395). Под этим впечатлением у Маркевича складывалась эстетика аристократизма, определявшая затем черты соответствующих романых персонажей. Вместе с тем «утонченные формы учтивости и наружная либеральность» скрывали в нем «беспредельную спесь и неукротимое своевластие» (11, 394), что приводило в бешенство служившего в 1823–1824 годах под его началом Пушкина и стало поводом для известных эпиграмм. Но вопреки осмеянной поэтом «половинчатости» Воронцова, Маркевич утверждал, что «это был совершенно цельный характер и ум несомненно государственный — и вся деятельность его носит на себе именно этот отпечаток просвещенности, который, сама собою, исключает упрек в „полуневежестве“, делаемый ему Пушкиным» (11, 393).

В доме Воронцова Маркевич познакомился с жившей там родственницей графа Варварой Григорьевной Шуазель, урожденной княжной Голицыной, обаятельной женщиной, обладавшей замечательной музыкальностью, «врожденною всей ветви Голицыных, к которой принадлежала она» (11, 402). В пору московской службы Маркевич узнал Марию Аполлоновну Волкову, «умную, живую, наблюдательную и образованную особу, принадлежавшую к высшему кругу общества ее времени», «фрейлину императрицы Марии и Елисаветы, весьма ценимую императором Николаем, любившим ее „прямодушную московскую речь“ и искавшим бесед с нею» (11, 349). Она в своем доме, где «все, от почтенных седых слуг и до фарфоровых горшков с цветами на окнах, носило на себе печать стародворянского житья, возродившегося на пожарах 12-го года, — представляла собою бережно сохранившийся образчик своеобразного духа, независимых понятий и благовоспитанных привычек образованных людей того време-

⁸ Именно это умонастроение в поколении самого Маркевича и изображаемых им героев выдвинул на первый план и вынес в заглавие своей пьесы «Идеалисты» (1895) Н. С. Дронин, написавший ее по роману «Четверть века назад».

ни. Память у нее была огромная; читала она все интересное, дельное, появлявшееся тогда в европейских литературах и следила за событиями с какою-то совершенно молодой жадностью» (11, 349).

Таков был любимый Маркевичем мир, с его людьми, поэзией, культурой, бытом. Художественно воссоздать его, удержать в слове его исчезающий дух и предания стало потребностью и творческой задачей писателя. Но он не мог не видеть симптомы неотвратимого разрушения этого мира, до сих пор сохранявшегося в оболочке имперской государственности. Об одной из своих авторских задач в романе «Перелом» Маркевич писал И. С. Аксакову 21 февраля 1882 года: «Я, по мере сил, старался изобразить патологические состояния нашего общества вслед за реформами 19^{го} февраля».⁹ И он не мог не понимать, кто виновен в этих «патологиях», кто стал разрушителями прежнего, столь дорогого ему общественного уклада. При нетерпимости Маркевича ко всему неэстетичному, грубому, низкому, наиболее враждебной этому миру силой представлялись ему деятели леворадикального, революционного движения, многие из которых пришли под знаменем нигилизма. Его реакция на них была закономерной и адекватной, даже при некоторой утрированности в изображении нигилистов. Но вот что очень существенно: реакция эта возникает в романах «Марина из Алого Рога» (1873), «Перелом» (1880–1881), «Бездна» (1883–1884) лишь пунктирно (в «Четверти века назад» (1878) она отсутствует вовсе) и лишь в связи с несколькими ситуациями. События с участием нигилистов, революционеров, сами их фигуры составляют побочную линию повествования. Хотя они и служат нескольким сюжетным обострениям, но отнюдь не занимают центрального места в романной трилогии. Тут дело не в самом Маркевиче.

Не столько его романы были «тенденциозными», сколько крайне тенденциозной была демократическая и леворадикальная критика, непомерно преувеличившая — в партийных интересах и вопреки реальному содержанию романов — размеры и место названной темы у Маркевича и тем самым подавившая все множество других тем, других образных и сюжетных линий. Писатель был внесен в литературные проскрипции той критикой и журналистикой еще в 1870-е годы, и в части общества, которая находилась под их влиянием, репутация «писателя-ретрограда», врага свободы и прогресса закрепилась за ним надолго. Маркевич был помещен в своего рода литературное гетто, получившее название «антинигилистический роман», где также оказались В. В. Крестовский, В. П. Авенариус, В. Г. Авсеенко, авторы «Бесов», «Обрыва», «На ножах» и другие. Уже то, что произвольно сведены в одну группу столь разные писатели, обнаруживает намерение оппонентов объединить их в некую клику воинствующих ретроградов по единственному (зачастую навязчиво подчеркиваемому) тематическому признаку, который был идеологически главным для критиков и публицистов левого лагеря и очевидно второстепенным с точки зрения литературной ценности вещи. Признак этот — критическое отношение автора к нигилизму, а вся художественная сторона произведения подавалась при этом превратно или просто отбрасывалась. Между тем замыслы, персоналогия, стилистика у названных авторов слишком различны, и общее им лишь пристальное внимание к возникшему новому идейному течению и его деятелям, которые вызывали обоснованную тревогу и опасения.

К. Ю. Зубков вполне убедительно показал происхождение и назначение понятия «антинигилистический роман».¹⁰ Под ним в той критике подразумевалось не собственно литературное явление в ряду других таких же, а коллективный идейный враг, принявший литературное обличье, он должен был стать политической мишенью для обстрела критиками. Затем и создавалось ими литературное гетто, чтобы там можно было скопом третировать идеологических противников за их консерватизм, реакционность, враждебность прогрессу, за апологию дворянства и поддержку имперской государственности. Приемами, которые позволяли обходить цензурные препятствия, велась ожесточенная война; простым и распространенным способом дискредитировать

⁹ ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 31. Л. 1 об.

¹⁰ Зубков К. Ю. «Антинигилистический роман» как полемический конструкт радикальной критики // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2015. № 4. С. 122–140.

произведение и автора было оболгать его героев. Роман Маркевича «Четверть века назад», в котором вовсе нет «антинигилистической» темы, подвергся именно такой экзекуции, поскольку автор уже был замечен в неприязни к нигилисту Левиафанову в романе «Марина из Алого Рога» и теперь подлежал наказанию. Анонимный рецензент писал: «...между всеми разнокалиберными и разномастными персонажами г. Маркевича нет ни одного, буквально ни одного честного человека», в романе царит «повальная безнравственность»; в отношениях славянофила Гундурова к народу рецензент видит только «плоскости и пошлости», к тому же этот герой «мучит бессмысленными капризами любимую девушку», Ашанин «бессердечный негодяй и феноменальный развратник», а автор «следует трафарету всех суздальских беллетристов <...> „Русского вестника“». ¹¹ Здесь все утверждения ложны, но они были приняты читателями на веру в авторитетных для «прогрессивной общечественности» «Отечественных записках». Вождь этой общечественности и ведущий сотрудник цитированного журнала Н. К. Михайловский не преминул в своей манере иронизирующего малосодержательного многословия отчитаться перед публикой о чтении сочинений Маркевича и заключить обо всех, что автор «писал резко тенденциозные вещи, но не от себя, не из души, а в угоду другим и даже прямо по заказу», ¹² намекая на «заказы» редактора «Русского вестника» Каткова. Что также является ложным утверждением, поскольку, как говорилось выше, Маркевич писал под влиянием сильных внутренних мотивов социально-этического и эстетического порядка.

Негодую на такую критику, Маркевич жаловался И. С. Аксакову 24 февраля 1882 года: «Писатели так называемого „консервативного лагеря“ (то есть лагеря здравого смысла) находятся в переживаемое нами время в самом печальном положении. Для них нет путеводных звезд, спасительных маяков, надежных пристаней. Бессовестное parti pris <здесь: предвзятость — фр.> брани во что бы то ни стало, наглые искажения, притворное непонимание или намеренное принижение задач автора — вот что единственно встречает каждое из его произведений со стороны враждебной критики». ¹³

И наиболее серьезный либеральный критик и публицист К. К. Арсеньев в 1888 году, через четыре года после ухода Маркевича из жизни, не удержался от новых выпадов против вышедшего еще в 1878-м его романа «Четверть века назад». Казалось бы, роман давно погребен под завалами критических поношений, выброшен из литературы, но что-то заставляет Арсеньева вновь сводить счеты с одиозным писателем и его персонажами. Отрицая реалистичность созданной Маркевичем картины общества того времени, не допуская даже, что в ней есть «хотя бы мимолетная иллюзия», он пишет: «Его „идеальные лица“ — неземная княжна, славянофильствующий jeune premier, сентиментальный учитель — до крайности бледны, их стремления мелки, тусклы, неопределенны; героического в них столь же мало, как и в той среде, представителями которой они служат». ¹⁴ Такой набор выхваченных «лиц» недопустимо скуден для объективного суждения о романе, характеристики этих «лиц» ложны и предвзяты. В подтексте же — неистребимое негативное отношение критика к «той среде», т. е. к дворянству. К. К. Арсеньев, интеллигентный выходец из духовенства, внук сельского священника и сын семинариста, историка и географа К. И. Арсеньева, не мог преодолеть свои сословные предубеждения. Не случайно им осмеяна «неземная княжна» Лина, отброшен старый князь Шастунов. Какую же картину той эпохи, какие «героические» лица хотел бы видеть Арсеньев вместо антипатичной ему аристократии и поместного дворянства? Разумеется, картину подъема революционного движения, активности разночинной массы, лица ее идейных предводителей, ведущих

¹¹ [Б. п.]. Четверть века назад. Правдивая история, соч. Б. М. Маркевича, части I и II, Москва, 1879 // Отечественные записки. 1880. Т. 248. № 2. Разд. «Новые книги». С. 207–209.

¹² Н. М. [Михайловский Н. К.]. Дневник читателя. О крокодиловых слезах // Северный вестник. 1886. № 10. С. 164.

¹³ ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 31. Л. 1.

¹⁴ Арсеньев К. К. За кулисами ретроградного романа. Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щербальскому и др. // Вестник Европы. 1888. № 10. С. 701.

борьбу против «давно отживших порядков».¹⁵ Кто же в таком случае более тенденциозен?

Между тем К. Н. Леонтьев, знавший о том времени по собственным наблюдениям и из живых источников, прочитав «Четверть века назад», заявлял в 1880 году, что «г. Маркевич (особенно в последнем великолепном произведении своем «Четверть века тому назад») стал для русского романа, т. е. не то, чтобы реакционером, а почти что так... *напоминателем забытого, но еще существующего*».¹⁶ Что такое «забытое существующее»? Это жизнь, переходящая из одних исторических форм в другие, меняющаяся — но и сохраняющая свои неизменные ценности в людях и вещах. А в письме к К. А. Губастову от 4–19 июля 1885 года Леонтьев вспомнил о времени, когда впервые прочел роман и еще не был знаком с его автором, который тогда «вдруг составил себе имя романом „¼ века тому назад“». Роман прелестен, и весь Тургенев — одной главы этого романа не стоит!»¹⁷

Сам Маркевич по поводу «Четверти века назад» писал помощнику Каткова Н. А. Любимову 14 июля 1878 года: «Роман мой имеет предметом изображение московского общества 25 лет тому назад с теми интересами, идеалами, побуждениями, какими жили <вставлено: люди. — В. К.> той эпохи; герой мой имеет совершенно определенный оттенок мнений известной тогдашней партии».¹⁸ И в этом изображении романист был вполне точен в историческом и социальном отношении.

В том же письме он сетовал, что редакция «Русского вестника» исказила некоторые образы, а главное — в повествовании обесцветила «колорит времени» (что потом было отчасти исправлено в отдельном издании). Этот-то «колорит времени», или «*веяние* известным духом времени или среды»,¹⁹ как определял Леонтьев, высоко ценивший такое свойство эпического письма, критик находил у двух писателей. Прежде всего, у Л. Н. Толстого, в частности в светских сценах «Войны и мира», «так красиво, так тонко и как бы благоуханно» изображенных, — и здесь же восклицал: «У кого мы это еще найдем! — Только у Маркевича в „Четверти века“ и „Переломе“».²⁰

Однако в этих романах Маркевич отнюдь не только «напоминатель» и живописатель той жизни дворянства, столичного и поместного, правительственных и придворных кругов, которую он во всех подробностях знал изнутри, не только собиратель ушедших «типов прошлого» (название его романа 1867 года) — он, в сущности, эпик-драматург, работающий с материалом этой жизни, придающий ее изображению форму тяжелой социально-политической драмы, трагическую развязку которой ничто и никто уже не может предотвратить.

В «Четверти века назад» один акт личной драмы разыгрывается на сцене и за кулисами — в домашнем театре и в имении княгини Аглаи — в ходе подготовки и постановки «Гамлета». Между участниками спектакля, обитателями дома возникают напряженные отношения, развитием которых управляет шекспировская мысль о трагичности жизни, шекспировская драматургия характеров и сценического действия;

¹⁵ Там же. Позднее изучавший русскую литературу с либеральных позиций И. И. Замотин дал сравнительно объективную оценку творчеству Маркевича, посвятив ему одному более трети обзорной главы «Тенденциозная беллетристика 60-х — 70-х годов» в «Истории русской литературы XIX века» под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского (М., 1911. Т. 4. С. 146–158). Разумеется, он говорит о «школе реакционной беллетристики», но выделяет в ней Маркевича как самого «яркого и в своем роде единственного ее представителя» (Там же. С. 146–147). Послереволюционное литературоведение в течение десятилетий если и упоминало Маркевича, то узко и предвзято трактовало его исключительно в замкнутом контексте пресловутого «антинигилистического романа».

¹⁶ Леонтьев К. Н. Еще о «Дикарке» гг. Соловьева и Островского // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 9. С. 124.

¹⁷ Леонтьев К. Н. Письмо к К. А. Губастову от 4–19 июля 1885 г. // Там же. Т. 12. Кн. 1. С. 116–117.

¹⁸ ИРЛИ. Ф. 160. № 2. Л. 222.

¹⁹ Леонтьев К. Н. Анализ, стиль и веяние. О романах гг. Л. Н. Толстого. Критический этюд // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 9. С. 243.

²⁰ Там же. С. 260.

завершается роман смертью исполнявшей роль Офелии княжны Лины и самоубийством старого князя Шастунова.

Оставаясь верным классической жанровой традиции, Маркевич существенно обновил ее, впервые создав своеобразный «роман-театр». При этом автор выступает блестящим комментатором всего происходящего на сцене и за кулисами в романной постановке «Гамлета», он оказывается отличным театральным критиком, точно передающим и все нюансы, и смысл игры каждого из участников спектакля. Едва ли не единственный пример в русской литературе соединения в одном образе двух лиц: исполнителя роли в пьесе и героя основного повествования: Гамлет-Гундуков, Офелия-Лина, Полоний-Акулин и др. Они наполняются большим содержанием, чем то могло быть передано в простом рассказывании о них, они живут как будто независимо от реальной жизни, выходящей за пределы авторской компетенции. Используя такую театрализацию романских персонажей, Маркевич удваивает психологические мотивы героев, получающие выражение в сценическом и бытовом поведении персонажей. При этом он обнаруживает тонкую пронизательность и изощренность в обрисовке их внутреннего мира, чему также способствуют портретные и пейзажные описания, принадлежащие к лучшим страницам русской прозы.

Выше уже говорилось о той социальной коллизии, которая послужила впоследствии источником пессимистического восприятия Маркевичем процессов, происходящих в обществе и в государстве. На первых ее стадиях она многим представлялась преимущественно нравственно-психологической драмой поколений. Так воспринимал ее Тургенев, так он отразил ее в «Отцах и детях» (1862). И Маркевич писал о том же 4 июня 1861 года своему ровеснику и другу М. Н. Лонгинову. Излагая свои «размышления, полные какой-то безнадежной грусти», как он их определял, Маркевич вопрошал: «Кто же наконец прав в глазах этого сменившего нас поколения, какая же заслуга, какая жизнь уважена им <...> И что же заключить из этого окончательного упразднения всякого авторитета, чего надеяться от поколения, воспитывающегося на отрицании всякой традиции, на беспощадном разрыве с людьми прошедшего. Но где же этот, наконец, идеал *improvisé*, этот изобретенный этими новыми людьми идеал, к которому точно так же не стремились все эти люди прошедшего, в которых они кидают грязью <...>. Я искренне скорблю душой, читая русские журналы. Неужели же наше будущее должно быть этот бюрократически-социальный мир, построенный на экономических комбинациях, в котором нет места ни личной свободе человека, ни поэзии, ни искусству и который гг. Чернышевские выдают нам плодом своего высшего учения?»²¹

Тогда лишь немногие увидели в этой коллизии явление, чреватое большими потрясениями. Среди них В. И. Кельсиев, порвавший с нигилизмом, В. В. Крестовский, некоторое время сочувствовавший радикалам-демократам, а затем показавший их деятельность в «Кровавом пуфе» (1875), Лесков, от оправдания «нигилистов» в рецензии на «Что делать?» (1863) пришедший к осуждению их в романах «Некуда» (1863–1864) и «На ножах» (1870–1871).

Постепенно Маркевичу становилось ясно, из кого составляется эта набирающая силу орда, какова ее идеология и практика, какие цели она преследует. Основная ее масса — выходцы из разночинной среды, из духовенства и мещанства, получающие доступное им образование (преимущественно естественно-научное, медицинское, техническое), но по низовому происхождению и воспитанию остающиеся в пределах упрощенного и огрубленного отношения к миру. Зачастую это недоучившиеся студенты, семинаристы, которые, по недостаточности основательных знаний и умственной узости, некритично схватывали популярные доктрины, вульгаризуя их и превращая в фанатические убеждения. Во многих из них претензии на идейную «прогрессивность», противостоящую «косному» обществу, порождали заносчивое самомнение, сочетавшееся в то же время с болезненным чувством приниженности своего положения, с недоурачаемой обидой на господствующее в обществе неравенство и угнетение. Такое чувство особенно обострялось у тех, кто имел какие-то таланты.

²¹ ИРЛИ. 23.210/CLXVIб.14. Л. 1–1 об.

Маркевич точно уловил эти черты возникшего социального типа и дал ему несколько литературных воплощений. Один из первых персонажей в этом ряду — Андрей Кирилин в романе «Типы прошлого» (1867). Сын экономки барина Чемисарова, воспитанный им, проучившийся на его средства два года в Петербургском университете, одновременно занимавшийся музыкой и ставший прекрасным скрипачом, возвращается в имение Чемисаровых совсем другим человеком. Под влиянием столичных леворадикальных идеологов, печатной пропаганды социалистических идей он стал ярким демократом, тем более что его сознание уже давно было отравлено мыслью о собственной социальной ущербности. Хотя он не совсем утратил прежние свойства своей природы, но презрение к благодетелю-аристократу, плебейская злоба на мир возобладали в нем. Движимый не только вожделем, но и мстительной ненавистью к аристократке, он соблазняет дочь Чемисарова. Понимая, что будет оскорблен и наказан ее отцом, Кирилин кончает с собой.

Все лица и события в этом романе еще заключены в круге частной жизни героев, в котором остается и поведение нигилиста Кирилина, не выходящее на социально-политическую арену, хотя он вполне готов действовать на ней. На ее пороге уже стоит учитель Левиафанов в романе «Марина из Алого Рога» (1873), закоренелый в своей ненависти к общественному и государственному строю России, к «обскурантизму» образовательной системы и намеревающийся насаждать «прогрессивные» идеи в петербургской военной гимназии. И надежды его на успех разрушительной работы на этом поприще имеют основание: сочувствующий Левиафанову предприниматель Верман, в чьи слова Маркевич вкладывает свое знание современного состояния общества, с удовлетворением замечает: «...самая настоящая либеральная цивилизация теперь в военном ведомстве» (3, 183). Действительно, радикально-демократическая идеология в ту пору уже находила, причем в возрастающем числе, своих адептов в офицерской среде, даже в высших ее слоях. В этом романе впервые автор прямо указывает на опасный симптом общероссийских «патологических» процессов. Позже он подтвердит и усилит такую симптоматику в «Переломе», обнаружив ее на верхах российского воинства и показав в образе ученого подполковника Блинова, офицера-прогрессиста новейшего типа, который сочувствует арестованному нигилисту и способствует его побегу. Из реальных фактов того времени исходил и Достоевский, упоминая в «Бесах», что Петр Верховенский создал в уезде свою «пятерку <...> между офицерами».²²

В «Переломе» и «Бездне» представлены уже крупные фигуры разрушителей — в их убеждениях, в подробностях их деятельности, в резко, подчас до утрировки, очерченных характерах. Прежде всего это Иринарх Овцын, реализующий революционно-анархическую программу разложения общества, дискредитации власти, возбуждения крестьян к бунту. Рядом с ним неслучайно поставлена личность его отца, насмешливо прозванного Ламартином за его идеализм, впрочем комически мелкий. Он, в сущности, оправдывает и поддерживает дело сына. В его отношениях к Иринарху очевидна близость к образу Степана Трофимовича Верховенского в его отношениях к сыну Петруше, они в романе Достоевского «Бесы» выступали один — как носитель идей сороковых годов и тип идеалиста той эпохи, а второй — как порожденный ею же идеолог и практик нигилизма и радикального разрушения. Надо заметить, что именно этот роман повлиял на появление саркастической иронии в развитии социально-критической темы в трилогии и к нему восходит нарастающий пессимизм Маркевича в художественной трактовке общественно-политической жизни России в 1860–1880-е годы.

В образ Иринарха Маркевич вложил отталкивающие черты, которые он настойчиво подчеркивает в его внешности и характере. И уже на грани бестиальности изображается в «Бездне» «свирельный» революционер-террорист по кличке «Волк». Связанный с русскими «бомбистами» и революционной эмиграцией, по облику, манере поведения он, несомненно, имеет своим прототипом революционера А. И. Желябова. Тот был судим на «процессе 193-х», в ходе которого оказался оправдан, участвовал

²² Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 302.

в организационной и пропагандистской работе «Народной воли», в подготовке покушений на Александра II. Сам Маркевич писал о «Волке» П. К. Щебальскому 30 октября (11 ноября) 1882 года, что этот «нигилист новой формации», который «от Добролюбовских теорий» перешел «к бакунинской „анархии для анархии“, — тип Желябовых и К^о. Смею думать, что он мне удался лучше, чем *деревянная* фигура Овцына». ²³ И в том же письме приводил слова А. Н. Майкова об этом персонаже: «Не в пример *глубже взято*». По поводу «деревянной», «без полутонов» фигуры Овцына Маркевич поясняет: «Впрочем, Чернышевский, Добролюбов e tutti quanti (и прочие подобные. — *итал.*), которых я лично знал, были именно такие *сплошные*, без полутонов люди... Intuition (предвидение. — *фр.*) для моего *Буйносова* дал мне процесс царубийц, на котором я присутствовал от начала его и до конца, прилежно изучая физиономию, пошиб речей и tenue²⁴ (здесь: манера держаться. — *фр.*) этих маниаков злодейства». ²⁵ Кроме того, источником сведений о русских революционерах и террористах Маркевичу послужила полученная им в Вене от К. А. Губастова книга «La Russia sotterranea» («Подпольная Россия», 1882), в которой были собраны очерки революционного деятеля, прозаика, публициста С. М. Степняка-Кравчинского, первоначально публиковавшиеся в 1881 году в миланской газете «Il Pungolo» («Стимул»).

В подрывную работу вовлечены не только такие озлобленные люди низкого происхождения, как Троженков, тайный корреспондент «Колокола», но и аристократ Владимир Буйносов, зараженный революционно-анархической идеологией, юный Гриша Юшков, сын севастопольского героя, совращенный Иринархом в нигилизм.

Помимо рядовых разрушителей, Маркевич выводит на социально-политическую арену фигуры, принадлежащие к разным структурам государственного управления и прямо или косвенно способствовавшие распространению нигилистической и анархической «патологии» в России. На нижних этажах власти это губернский товарищ прокурора Тарах-Таращанский, откровенно объявляющий себя демократом и противником всяких действий администрации, стесняющих «свободу гражданина», в чем его вполне поддерживает новый губернатор Савинов, также намеревающийся действовать в духе новейшего гуманизма и устранять «полицейские чины», слишком ревностно служащие государственным интересам. Именно товарищ прокурора, недовольный, как он говорит, «нашим убогим правительством» (10, 152), склонен, из сочувствия к «интеллигентному студенту», отпустить Иринарха, посаженного в острог за агитацию среди крестьян.

Но и на самых верхних этажах потакают таким антигосударственным тенденциям или признают в бессилии им препятствовать. Эта тема развертывается в «Переломе» в свете эпиграфа «*Безумный натиск здесь, а там отпор бессильный*», представляющего собой измененную Маркевичем строку из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830), превращенную им в характеристику отношений между агрессивными радикалистскими элементами и властью, не противодействующей им. У Пушкина: «Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый».

Центральным для этой темы является эпизод встречи Троекурова с сановником Павановым, который наделен некоторыми чертами графа П. А. Валуева, с 1861-го по 1868 год занимавшего пост министра внутренних дел. Троекуров, излагая свою историю «наказания нагайкой» нигилиста Иринарха за его гнусный поступок, которая стала известна наверху из публикации в «Колоколе», просит Паванова «*буквально* передать ее туда, где интересовались ею, так как она может служить лучшим образчиком того беспомощного положения, в которое ставит в настоящую минуту всех людей порядка в России полное отсутствие в ней власти и системы в управлении» (7, 335). На что Паванов откровенно признается ему как близкому некогда человеку: «Nous ne pouvons rien; le torrent nous emporte» («Мы ничего не можем, поток несет нас». — *фр.*). И заявляет, что Россия идет в никуда.

²³ Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и другим. СПб., 1888. С. 169.

²⁴ В источнике цитаты *terne* (тусклый — *фр.*), что не имеет здесь смысла и является опечаткой.

²⁵ Там же. С. 169–170.

Единственный (и наиболее близкий автору) герой, противостоящий в своих убеждениях, в практической деятельности всей общественной «патологии», — это Борис Васильевич Троекуров, который в романах «Перелом» и «Бездна» по-леонтьевски героичен и эстетичен. Славянофил Гундулов же, не способный занять такую позицию, вполне чужд Маркевичу, о чем он писал П. К. Щебальскому 23 июля 1880 года в разгар работы над романом: «Доктринерство Гундулова не только не владеет моими сочувствиями, — оно, как говорится, *pretit* всем моим инстинктам (оно не *эстетично*, уже прежде всего). Но я — *русский* художник (*passez moi cette forfanterie* (простите мне это бахвальство. — *фр.*)); чувство правды берет у меня верх над всеми моими ображениями. Если у меня Гундулов говорит „умнее“ Наташанцева, то это потому, что, увы, в действительности это было так. Я знал оба лагеря тех времен. <...> Гундулов „умен“, не столько *an sich* (здесь: сам по себе. — *нем.*), как теми фактами истории, на которых сидит он верхом...»²⁶

Действительно, хорошо зная лагеря и славянофилов, и западников, высшую бюрократию и местную администрацию, прогрессистов и нигилистов, Маркевич, как, может быть, немногие из писателей той эпохи (среди них прежде всего автор «Бесов»), ясно видел масштабы и темпы социально-политических процессов, ведущих к разложению имперского организма и чреватых неизбежной революцией. Как и Достоевский, он показал эти процессы в глубоко драматизированном эпическом повествовании.

²⁶ Там же. С. 149.

DOI: 10.31860/0131-6095-2022-3-131-144

© Е. В. Кузнецова

МЕТАФОРЫ ТВОРЧЕСТВА В ЛИРИКЕ З. Н. ГИППИУС*

Зинаида Гиппиус была одной из самых известных, успешных и уважаемых писательниц, художественных критиков и общественных деятельниц своего времени. Такая активная жизненная позиция, претендующая на собственное мнение по социально-историческим, религиозным, философским и художественным вопросам, а также на интеллектуальное равенство с мужчинами, не вызывает сейчас удивления. Однако выступать в роли мыслителя и оригинального творческого субъекта было для женщины рубежа XIX–XX веков не столь легко. Определенные культурные предпосылки делали проблему авторства острой и болезненной как для Гиппиус, так и для целого ряда ее последовательниц и современниц.

Причина этого заключается во многом в том, что гендерный порядок эпохи «рубежа веков» был маскулинным. Как пишет К. Эконен, для андроцентричного общества характерны, во-первых, «бинарное и комплементарное противопоставление полов» и, во-вторых, «нейтральность» маскулинной и «маркированность» фемининной категорий. Иными словами, маскулинное отождествляется с общечеловеческим, а фемининное — это сугубо женское, при этом фемининное не функционирует самостоятельно, но лишь вместе с категорией маскулинного, стоящей к ней в оппозиции.¹ Культуре русского модернизма был свойственен взгляд на женщину как на объект поклонения, прекрасный, возвышенный образ, идеал, вдохновляющий художника, но при этом лишенный права на собственный голос. Эта установка ярче всего иллюстрируется образами

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10100 «Конструирование феминности в литературе и культуре русского модернизма») в ИМЛИ РАН.

¹ Эконен К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме. М., 2011. С. 29–30.